

Евгений Замятин

# Сказки



# Евгений Иванович Замятин

## Сказки

*Текст предоставлен издательством «АСТ»*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=171990](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171990)*

*Мы: АСТ, АСТ Москва; Москва; 2008*

*ISBN 978-5-17-024141-5, 978-5-9713-6857-1*

### Аннотация

**В сборник вошли произведения:**

Сказки 1914–1917

- Бог
- Петр Петрович
- Дьячок
- Ангел Дормидон
- Электричество
- Картинки
- Дрянь-мальчишка
- Херувимы

Большим детям сказки 1917–1920

- Иваны
- Хряпало
- Арапы
- Халдей
- Церковь божия
- Бяка и Кака

- Четверг
- Огненное А
- Первая сказка про Фиту
- Вторая сказка про Фиту
- Третья сказка про Фиту
- Последняя сказка про Фиту

# Содержание

Сказки	5
Бог	5
Петр Петрович	9
Дьячок	11
Ангел Дормидон	14
Электричество	18
Картинки	20
Дрян-мальчишка	22
Херувимы	24
Большим детям сказки	26
Иваны	26
Хряпало	30
Арапы	33
Халдей	35
Церковь божия	37
Бяка и Кака	40
Четверг	42
Огненное А	44
Первая сказка про Фиту	47
Вторая сказка про Фиту	51
Третья сказка про Фиту	54
Последняя сказка про Фиту	57

# Сказки 1914–1917

## Бог

Было это царство богатое и древнее, славилось плодородностью женского пола и доблестью мужского. А помещалось царство в запечье у почтальона Мизюмина. И был такой таракан Сенька – смутьян и оторвяжник первейший во всем тараканьем царстве. Тараканихам от Сеньки – проходу нет; на стариков ему начихать; а в бога – не верит, говорит – нету.

– Да как же нету, бесстыжие твои глаза? Ты при свете вылезь да зеньки разинь. А то, ишь ты: не-ету...

– А что ж, вылезу, – хорохорился Сенька.

И вылез однажды. Вылез – и ахнул: бог-то ведь есть и правда! Вот он, вот: грозный, нестерпимо-огромный, в розовой ситцевой рубашке, бог...

А бог, почтальон Мизюмин, чулок вязал: любил он этим рукоделием заниматься в сверхурочное время. Увидал Сеньку Мизюмин – обрадовался:

– А-а, друг сердечный, таракан запечный, откуда ты, здравствуй!

Почтальону Мизюмину нынче выговориться обязательно надо, а больше, как с Сенькою, не с кем.

– Ну, брат Сенька, женюсь я. Невеста – первый сорт. Пойми ты, тараканья твоя душа: девица – из благородных, и приданого полтораста рублей! Ох и заживем мы с тобой! Заживем, Сенька? А?

А Сенька от умиления глаза как вылупил – так и остался: все слова позабыл.

У Мизюмина свадьба – на красную горку, и заказала ему благородная невеста, чтоб до свадьбы обязательно купил себе новые калоши. А то чистый срам: уж который год носит Мизюмин отцовские кожаные скробыхалы номер четырнадцатый. И как только Мизюмин на улицу – сейчас же за ним мальчишки:

– Э! Э! Скробыхалы! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы!

Навязал Мизюмин чулок – и на Трубную пошел: чулки продать – новые калоши купить. Подвернулись Мизюмину щеглы в клетке: не щеглы – загляденье.

– Сем-ка я лучше щеглят куплю? Калоши-то еще крепкие...

Купил клетку, поднес невесте в презент:

– Вот чулки вязал – продал, щеглят вам купил. Не побрезгуйте уж: от чистого сердца.

– Ка-ак? Чулки? И опять в скробыхалах? Ну, не-ет, терпенья моего больше нету. Подумать только: за чу-

лочника замуж! Не-ет, нет, и никаких разговоров!

Прогнала Мизюмина с глаз долой. Надрызгался в трак-тире Мизюмин, вернулся домой пьян-пьянехонек, за стены держится...

А на стене – ждал бога таракан Сенька: умиленно слушать, как всякий вечер, что скажет бог.

Горькими слезами хлюпал, шарил рукой по стене почтальон Мизюмин. И ненароком как-то задел пальцем Сеньку, полетел Сенька торчмя головой в тартарары в бездонное.

Очнулся: на спине лежит. Берега – гладкие, скользкие; глубь страшенная. Еле-еле, далеко гдей-то потолок виден...

И взмолился Сенька своему богу:

– Вызволи, помоги, помилуй!

Нет, глубь такая – и богу, должно быть, не достать, так тут и сгинешь.

...Горькими слезами хлюпал почтальон Мизюмин, подолом розовой рубашки утирал нос.

– Сенька, Сенюшка, один ты у меня остался... И где же ты... И куда ж я тебя, милый ты мо-ой...

Нашел Сеньку Мизюмин в своем скробыхале. Пальцем выковырнул Сеньку из бездны – скробыхала номер четырнадцатый – и на стену посадил: ползи. Но Сенька даже и ползти не может, прямо очумел: до чего нестерпимо велик бог, до чего милосерд, до чего

могуществен!

А бог, почтальон Мизюмин, хлюпал и подолом розовой рубашки утирал нос.

1915



# Петр Петрович

Умнее Петра Петровича в целом свете нету: и все думает, и все думает, сопли распустит – и думает.

А сопли у Петра Петровича – лиловые, а происхождения Петр Петрович индейского. А жена у Петра Петровича – клюшка Аннушка, рябенькая: другой месяц женаты.

И как вылупились из земли слепые еще головенки первых трав – занасестилась Аннушка. Причесываться перестала, расшершавилась – ходит и квохчет и охает, а Петр Петрович на одной ноге стоит и думает, думает: вот – яйца, с рыженькими веснушками; а не нынче-завтра из них индюшата выйдут, желтые, как одуванчик, пуховые, как одуванчик.

– Ну до чего интересно!

А рябенькая Аннушка – свое бабье дело делает: в кошелке на яйцах сидит. Неделя, другая. Извелась Аннушка, не пьет – не ест, с места не сходит.

Петру Петровичу не терпится.

– Ну, как там у тебя?

Краснеет Аннушка:

– Да теперь уж, поди, как следует. Только еще пуш-ком не обросли. Еще недельку бы надо.

– Ну-у: неделю! Так и не дождешься. Экие вы, бабы!

Умнее Петра Петровича в целом свете нету, и все думает, и все думает: на одну ногу станет – и думает.

И решил Петр Петрович: бабы – известно, рохли, копухи, чего на них глядеть, надо по-нашему, по-индейпетушиному.

Пришел к Аннушке – один глаз прищурен: хитрый – беда!

– Поди-козь попей, Аннушка. В лоханке – вода свежая, а я без тебя за яйцами пригляжу.

Ушла Аннушка пить, а Петр Петрович – в кошелку: кок – одно яйцо, кок – другое, кок – третье. Теплые индюшата, дышат, ей-богу! Обрадовался – вот как, и ну их из скорлупы тянуть.

Вытянул – а они страшные, голые, хлипкие, и самое, где задик, с отонком яичным срослись жилами, кровью. Отдирать стал – кишки тянутся, назад совать в скорлупу – назад не входят.

Отскочил Петр Петрович, побледнели сопли – и глядит, клюв разиня: яйца разбитые, и свесились через край желтенькие головки на нестерпимо-длинных, тоненьких шеях. И уж еле дышат.

Захлопал крыльями Петр Петрович – и скорей через забор, пока Аннушка не увидела. Бабы – они ведь какие: беда с ними!

# Дьячок

Слыхано ли, чтоб кто-нибудь по выигрышному билету выигрывал, да не по газете, а взаправду, так, чтоб и деньги выдали? А вот выиграл же кураповский дьячок, Роман Яковлич Носик, и вчерашнего числа получил в казначействе пять тысяч. Теперь – чисто царь: все может.

Роман Яковлич Носик – сложения деликатного, и мысли у него – деликатные, возвышенные: насчет облаков, стихов господина Лермонтова. А в кураповской церкви – милее всего дьячку Моисей на горе Синайской, в облаках алых, золотых и лилейных.

Всю ночь дьячок ворочался с боку на бок: что бы это такое ему теперь сделать? И то хорошо, и это не плохо, да надо что-нибудь такое повозвышенней. И никак не придумать.

Пошел утром в церковь, Моисею-пророку помолиться. Только увидал Роман Яковлич нестерпимую синь синайскую и на самой маковке из облаков нездешний град – сразу и осенило.

Прибежал к дьячихе:

– Ну, мать, собирайся! Нонче выезжаем.

– Да ты спятил, что ли? Куда тебя буревая несет?

А дьячок от волнения уж вовсе невнятен:

– Жа-жалаю, чтоб, значть, к-как Моисей... На горе Синайской... чтоб, значть, облака...

Ехали, ехали, текала, охала, пилила дьячка всю дорогу дьячиха. Приехали, стой: Кавказ называемый. Гора – две капли воды – Синайская, и зацепились за маковку неописанной красы облака.

Только хотел дьячок на колени пасть – глядь, стоит телега парой, на грядущке – солдат кривой:

– Пожалте, Роман Яклич, я за вами.

– Чего такое? Кто послал? Куда?

– А на маковку, в облака в самые... – и такой у кривого солдата глаз пронзительный, так насквозь и низает. Жуть, а ехать все равно надо: сел Роман Яковлич с дьячихой на телегу – и покатили.

Сорок дней – сорок ночей на маковку ехать. Дьячиха – знай себе подзакусывает да чай с молоком пьет. А дьячок – будто к причастию, не пьет – не ест, исхудал, лицом посветлел. Уж будто видать и соборы синекупольные, и зубцы белые, и завтра Роман Яковлич, как Моисей, – в облаках...

Под сороковой день ночью на постоялом лошадей кормили.

– Ну, завтра – чуть свет приедем... – И показалось, кривой солдат подмигнул: – Время есть, – может, назад повернуть?

– Что ты, кривой, господи помилуй! На самый напо-

следок – да повернуть?

Закрылись веретьем да сверху армяком дьячковым, улеглись в телеге дьячок с дьячихой, погнал лошадей солдат. Дьячиха давно уж храпит, а дьячку – не до сна, сердце колотится, а нарочно глаза закрыл: потуда не откроет, покуда не осияет нестерпимая синь синайская, не запоют нездешние голоса...

И случился грех: уморился ждать, задремал дьячок, как и приехали, не учуял. Только слышит – гаркнул кривой солдат:

– Вставай, Роман Яклич, приехали!

Стал дьячок глаза разожмуривать, потихоньку-потихоньку, чтоб не ослепнуть. Раскрыл: мга, изморось, осень, слякоть...

– Ты чего ж, кривой, брешешь, чертов сын? Приехали! А облака-то где?

– А это самые облака и есть, друг ты мой Роман Яклич... – да как загогочет – и пропал, и нет никого: одна изморось, мга, туман.

# Ангел Дормидон

Был такой глупый ангел, по имени – Дормидон.

Все ангелы, известно – от дыхания божия: дохнёт господь – и ангел, дохнёт – еще ангел. А тут погода была плохая, чихнулось – и вылетел ангел от чоха, оттого и несуразный. Рыластый, глазами, это, все туды-сюды, туды-сюды, и на левой руке, на мизинце, кольцо с аметистом: ну под стать ли это ангелу-то? А как до дела – так ему чтоб сразу все, с бухты-барахты, а потом и завалиться дрыхнуть. Так уж его терпели на небе, из милости больше.

И приставили глупого ангела Дормидона за мужиком ходить. А мужик – тоже хорош: пьяница забубенный.

Ходил, это, ходил Дормидон за своим мужиком по всем целовальникам – никак толку нет.

«Ну коли так, – думает, – ладно. До белой горячки тебя допою, а потом уж сразу и раскаю».

И мужику на ухо:

– Вали, брат, наяривай! Ну-ка, еще по одной!

И побежал мужик по деревне не в своем виде, без штанов, буянит – мочи нет, а в руках цеп: за своей же, мужиковой, тенью с цепом гоняется.

А Дормидон в воротах, за вереей, с мужиковым

братом спрятался, и оба за животики держатся:

– Ха-ха-ха! Так ее, такую-сякую! Так ее, лови!

Добежал мужик, тень – нырь в ворота. Мужик за ней:

– А-а! Еще гогочешь, проклятая? Ну, посто-ой...

Да как ахнет цепом сплеча! Ангелу-то чего подеется, а мужиков брат – так и свалился, как колос: мертвый.

Полетел глупый ангел с донесением: так и так, происшествие. Взмылили ему голову, как надобно, а он стоит себе да перстень с аметистом вертит: как с гуся вода.

– Ну, Дормидон, – говорит бог, – теперь уж как хочешь, хоть двадцать годов ходи, а чтобы у меня в рай мужика этого предоставил.

– Фу-ты, господи: да неуж не предоставлю? Я-то? – и к мужику, на землю.

А день был базарный: пошли с мужиком доски покупать – мужикову брату на домовину, и веревок – домовину спускать.

Мужик тверезый, зленный – страсть! – Дормидона так и чешет:

– Во-от въелся, чисто репей в хвост собачий! Ты долго еще за мной будешь?

Дормидон – будто и не ему: знай, перстень вертит. А у самого в голове, как гвоздь:

«И как бы это одним махом от мужика оттильдиться?»

Глядь – цыган мимо, свинью на аркане волокет: свинья визжит, упирается, веревка длинная, белая.

Увидал Дормидон цыгана с веревкой – как по лбу себя хлопнет: батюшки мои, вот же... И мужику на ухо:

– Покупай веревку-то, покупай. Веревка-то какая: нигде такой не найти.

Купил мужик. И только, это, вышли с Дормидоном на выгон – ну, который за базаром выгон, – Дормидон хватить цыганов аркан мужику на шею – и поволок.

Мужик – в голос:

– Батюшки! Ослобони, родимый! Брат неприбран лежит! Куда ты меня?

А Дормидону – потешно, ржет:

– Ну-ка еще! Ну-ка еще? Не-е-ет, не уйдешь! Так без пересадки в рай и приволоку.

Брыкался-брыкался мужик, а под конец – сел на землю колодой – и все: поди сковырни.

Почесался Дормидон, поплевал на руки – дюжий был – за аркан покрепче да как завьется с мужиком вверх. И ходу, все пуще, только ветер свистит. На мужика и не оглядывается: тяжело на аркане, стало быть, тут мужик, ну и ладно, а что утих – и того лучше.

Прилетел в рай, упыхался, ухмыляется Дормидон во весь рот: доволен.



– Вот он, мужик-то ваш. Предоставил. Поглядели: а мужик лежит, не копнется, синий весь, язык высунут. Готов.

Осерчал тут господь – не приведи господи как...

– Предоста-авил! Дурак ты, дурак набитый! Сейчас – вон, и чтоб духу твоего не было!

Обчекрыжили Дормидону крылья – и на землю сослали. Пока, это, еще опять до ангелов дослужится.

1916

# Электричество

У слесаря Галамея в поясницу вступило: мочи нет, одолел ревматизм этот самый окаянный. Галамей и то, и другое, и на пороге ему баба поясницу обухом секла, и мазево всякое – ничего толку. Уж и за что взяться – не знает.

А тут сосед какой-то возьми и накапай ему в мозги про электричество: одно-де тебе и осталось лекарство – электричество от всех болезней может.

Утром чем свет Галамей взбодрился: одной рукой за поясницу, другую – сапог натягивает.

– Ты куда ж это ни свет ни заря? – баба Галамеева спрашивает.

– А электричеством, – говорит, – лечиться пойду. Одно мне только теперь и осталось.

– Ой, батюшка, ты бы как полегче, дело-то такое – умеючи надо. Ты бы сперва к доктору.

– Дура-баба: а звонки электрические кто на почте наладил?

– Ты-ы, батюшка...

– Ну, то-то. И без доктора, мол-ка, управлюсь. У Галамея, брат, своя башка на плечах.

Взвалил проволоки медной круг – и пошел. Посередь самой Тамбовской остановился, штаны расстег-

нул, проволокой себе пониже пояса обмотал, а на другом конце крючок сделал – и ждет. А рань еще, камни розовые, ставни закрыты, мальчишки в белых фартуках на головах корзины несут. И самый первый трамвай через мост гудит.

Услыхал Галамей, изловчился, накинул крючок на самый трамвайный провод: ну-ка, господи благосло...

Ка-ак его шкрыкнет электричество это самое, заплясал, скрючило в три погибели – и наземь свалился.

Ну, тут, конечно, шум, гам, кондуктора, пассажиры выскочили, оттащили Галамея. За доктором. Тер-тер, кой-как доктор оттер Галамея, открыл Галамей один глаз.

– Ну, как? – доктор спрашивает. – Как чувствуете?

– Ничего, – говорит, – не чувствую. Вылечился, слава тебе, господи.

И богу душу отдал.

# Картинки

Пришел я к приятелю – денег займы просить. Ни самого нет дома, ни жены нету: вышел ко мне в залу мальчик, чистенький такой.

– Вы погодите немножко. Папа-мама сейчас придут.

А чтоб не скучал я, стал мне мальчик картинки показывать.

– Ну, это вот что?

– Волк, – говорю.

– Волк, верно. А вы знаете, волк, он травку не кушает, он овечков кушает...

И этак все картинки объясняет дотошно, ну, смерть – надоел. Петуха раскрыл:

– А это что? – спрашивает.

– Это? Изба, – говорю.

Выпучил мой мальчик глаза, обомлел. Погодя, кой-как справился, нашел мне настоящую избу:

– Ну, а это что?

– А это – веник березовый, вот что.

Улыбнулся мальчик вежливенько и доказывать стал: изба – зернышки не клюет, а петух – клюет, а в петухе жить нельзя, а в избе можно, а у веника – дверей нету, а у петуха...

– Вот что, – говорю, – милый мальчик: если ты сию

минуту не уйдешь, я тебя в окошко выкину.

Поглядел мне в глаза мальчик, увидал – правда, выкину. Заревел, пошел бабушке жаловаться.

Вышла бабушка в залу и стала меня корить:

– И как же вам не совестно, молодой человек? За что вы милого мальчика? Ведь он вам истинную правду говорил.

1916

## Дрянть-мальчишка

Подарили Петьке игрушку: голубоглаза, маленькие ручки, шелковые кудри, разные там кружевца да прошивки. А уж это-то как замечательно: нажать хорошенько – и сейчас тебе скажет: «лю-блю», да еще и глазки голубые закатит.

Играть бы да играть Петьке да родителей благодарить: не всякому такие игрушки дарят. Так вот нет же: глупый мальчишка, больно уж умен не в меру. День поиграл, другой. На третий – пожалуйте:

– Отчего глазами так делает? Отчего пахнет хорошо? Отчего «лю-блю»?

Перочинный ножичек, да вспорол, да до всего и добрался, отчего что.

А только ничего интересного: для томных глаз – шарики какие-то свинцовые; под розовым атласом – кожей – гнилые опилки; для «лю-блю» – резиновый пузырь с дудкой.

Зашили потом родители кое-как, да уж не то: «лю-блю»-то уж не умеет делать.

Петьку выдрали: глупый мальчишка – будет знать, как игрушки портить. Говорёно сколько раз: игрушки – для игры, а не хочешь играть, дрянть-мальчишка, отдай другому. А то ишь ты: внутри ему глядеть надо,

ломать ему надо.

– Не ломать, не ломать, не ломать!

Так его.

1915

# Херувимы

Всякому известно, какие они, херувимы: головка да крылышки, вот и все существо ихнее. Так и во всех церквах написаны.

И приснился бабушке сон: херувимы у ней в комнате летают. Крыльями полощут по-ласточьи, под самым потолком трепыхаются. Прочитала им бабушка Херувимскую и всякую молитву про херувимов вспомнила – прочитала, – а они все под потолком трепыхаются.

Так стало жалко бабушке херувимов. И говорит – какому поближе:

– Да ты бы, батюшка, присел бы, отдохнул. Уморился, поди, летать-то.

А херувим сверху ей, жа-алостно:

– И рад бы, бабушка, посидеть, да не на чем!

И верно: головка да крылышки – все существо ихнее. Такая уж их судьба херувимская: сесть нельзя.

В нелепом сне над старой бабкой Россией трепыхаются херувимы. Уж умотались крылышки, глянут вниз: посидеть бы. А внизу страшно: штыки – и взираются херувимы вверх со всего маху.

– Упразднить законы – вопче.

Уж под самым потолком трепыхаются, уж некуда



дальше, а надо: такая их должность херувимская –  
трепыхай дальше:

– Рубить головы гильотиной.

– Ой, батюшка херувим, отдохнул бы, присел...

– Я рад бы, бабка, да никак нельзя...

И не нынче-завтра встрепыхнет херувим дальше:

– Пытать на дыбе. Сечь кнутом. Рвать ноздри.

Жалко херувимов, такая их судьба несчастная:  
в нелепом сне трепыхаться без отдыха, потолок голо-  
вой прошибать, покуда не отмотают себе крылышки,  
не загремят вниз торчмя головой.

А внизу – штыки.

# Большим детям сказки 1917–1920

## Иваны

А еще была такая деревня Иваниха, все мужики Иваны, а только прозвища разные: Самоглот Иван (во сне себе ухо сжевал), Оголтень Иван, Носопыр Иван, Солёные Уши Иван, Белены Объялся Иван, Переплюй Иван, – и не перечать, а только Переплюй – самый главный ихний. Которые скородят, сеют, а Иваны – брюхами кверху да в небо плюют: кто переплюнет.

– Эх вы, Иваны! Пшеницу бы сеяли!

А Иваны только сквозь зубы: цырк.

– Вот на новых землях, слышать, действительно поше-ница: первый сорт, в огурец зерно. Это – пошеница, да...

И опять: кто кого переплюнет.

Лежали этак – лежали, и привалило Иванам счастье невесть откуда. Топот по дороге, пыль столбом – конный по Иванихе, объявление привез: которые Иваны на новые земли желают – пожалуйста.

Осенили себя Иваны крестным знаменем, изо всей мочи – за хвост конному, и понесло, только рябь в глазах: церковь – поле, поле – церковь.

Спустил конный: ни жилья, ничего, на сто верст кругом – плешь, и только по самой по середине крапивища стоит, да какая: будылка в обхват, на верхушку глянь – шапка свалится, а стрекнет – волдыри в полтинник. Колупнули Иваны землю: черная – вар сапожный, жирная – масло коровье.

Ну, братцы, скидавай котомы: самая она и есть – первый сорт.

В кружок сели, краюху пожевали с солью. Испить бы – да и за дело. Туда-сюда: нету воды. Делать нечего, надо колодец рыть.

Взялись, это. Земля – праховая, легкая, знай комья летят. А Переплюй нет-нет да и остановится, глаза прижмурит.

– Ой, братцы, должно быть, и вода же тут: сладчищая, не то что у нас...

А тут как раз об камень железо – дрынь! Каменина здоровый. Вывернули – ключ забил. Черпанули в корцы, попили: холодная, чистая, а вода как вода.

Переплюй только сквозь зубы – цырк:

– Этакой-то в Иванихе сколько хошь. Глубже бери: тут первый сорт должна быть, а не то что...

Рыли-рыли, до темной ночи рыли: все то же. Под

крапи-вищей ночь проворочались, с утра опять рыть. А уж глубь, жуть в колодце, черви какие-то пошли, поганые, голые, розовые, мордастые. Роят-пороют, пристанут Иваны, призадумаются. А Переплюй сверху – еле-еле слышать:

– Глубже, братцы, бери! Самую еще малость нажать! И дошли тут до какого-то сузему: крепкий – скрябка не берет, и вода мешает – воды порядочно, все такая же, как в Иванихе. Лом взяли: тукнут, а оттуда гук идет, как из бочки, пещера, что ли. Тукнули, это, еще посильней: как загудит все – да вниз, и вода вниз, и щебень, и комья, и инструмент весь, глаза запрашило, оглохли, еле на прилипчке каком-то сами удержались.

Протерли глаза Иваны, глянули под ноги... С нами крестная сила! Дыра – а в дыре небо синее. Вверх глянули: далеко, чуть светится небо синее. С нами крестная сила: проколупали землю насквозь!

Сробели, шапки в охалку да наверх драла: Самоглот – Оголтню на плечи, Оголтень – Носопыру, Носопыр – на Соленые Уши, Соленые Уши – на Белены Объялся, так и выбрались.

Выбрались – первым делом Переплюю бока намяли. Манатки в котомы да назад в Иваниху: без воды, без инструмента куда же теперь? Только и утехи, что по щепоти новой земли в Иваниху притащили.

Соседям показывают, а соседи не верят:

– Бреши, бреши больше; кабы такая земля где была, так неужто бы назад вернулись?

А про это, как насквозь проколупали, никак и рассказать нельзя: засмеют. Так брехунами Иваны и прослыли, и по сю пору никто не верит, будто на новых землях были. А ведь были же.

1920

# Хряпало

Тряхнуло – посыпались сверху звезды, как спелые груши. Опустел небесный свод, стал как осеннее желтое поле: только ветер над желтой щетиной гудит неуютно, и на краю, на дальней дороге, медленно ползут два черных человека-козявки. Так ползли в пустом небе солнце и месяц, черные, как бархатные ризы на службе в Великий Пяток: черные, чтоб светлее сияло Воскресение.

Тут-то и попер по земле Хряпало. Ступни медвежачьи, култыхается, то на правую ногу, то на левую. Мертвая голова вепря – белая, зажмуренная, лысая: только сзади прямые патлы, как у странника, до плеч. И на брюхе – лицо, вроде человеческого, с зажмуренными глазами, а самое где пуп у людей – разинается пасть.

В поле под озимое орал дед Кочетыг. Штаны пестрядинные, рубаха посконная, волосы веревочкой подвязаны, чтобы в глаза не лезли. Глянет в небо дед: жуть. А пахать все равно надо. Такое уж дело.

И сзади Хряпало наперся на деда: глаза у Хряпалы только так, для порядку, а разожмурить не может, по чем ни по-падя прет.

– Ты кто такой? – деду говорит; где пуп у людей –

разинул Хряпало пасть – брюхом говорит. – Ты чего на моей дороге? – другую пасть раззявил, вепрячью, – хряп: одни дедовы лапти наружи.

Еле-еле слышать, будто из-под земли, дедов голос:  
– А хлеб как же? Хлеба не будет...

А Хряпало – брюхом:

– А мне наплевать... – только и видели деда.

На просеке девчушка Оленка цветы собирала – первые колокольцы весенние. Мелькают босые ноги, белые между колокольцев, и сама, как золотой колоколец, заливаётся: про свекровь-матушку, про лиха мужа, – за сердце берет.

Споткнулся Хряпало на Оленку:

– Ты чего на дороге? – хряп: одни пятки босые забились белые.

Из глубли только и успела крикнуть Оленка:

– А песня...

– А мне наплевать, – пробрюхал Хряпало и последнее заглоти́л – белые пятки.

Где ни пройдет Хряпало – пусто, и только сзади него останется – помет сугробами.

Так бы и перевелась людь на земле, да нашелся тут человек, офеня, и фамилия у него какая-то обыкновенная, не то Петров, не то Сидоров, и ничего особенного, а просто сметливый, ярославский.

Приметил офеня: не оборачивается Хряпало, все

прямо прет, невозможно ему обращаться.

И с ухмылочкой ярославской поплелся офеня тихонько за Хряпалой. Не больно оно сладко, конечно: не продохнуть по колена в сугробах этих самых, да зато – верное дело.

За ярославским офеней и другие смекнули: глядь, уж за Хряпалой – чисто крестный ход, гужом идут. Разве только дураки какие, вовсе петые, не споашились за спину Хряпа-лову от Хряпалы спрятаться.

Петых дураков Хряпало живо dokonчил и без питания окошел, конечно. А ярославский народ зажил припеваючи и Господа Бога благодарил: жирная земля стала, плодородная от помета, урожай будет хороший.



# Арапы

На острове на Буяне – речка. На этом берегу – наши, краснокожие, а на том – ихние живут, арапы.

Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, так хорош: весь – филейный. Супу наварили, отбивных нажарили – да с лучком, с горчицей, с мало-сольным нежинским... Напитались: послал Господь!

И только было вздремнуть легли – воп, визг: нашего уволокли арапы треклятые. Туда-сюда, а уж они его освеживали и на углях шашлык стряпают.

Наши им – через речку:

– Ах, людоеды! Ах, арапы вы этакие! Вы это что ж это, а?

– А что? – говорят.

– Да на вас что – креста, что ли, нету? Нашего, краснокожего, лопаете. И не совестно?

– А вы из нашего – отбивных не наделали? Энто чьи кости-то лежат?

– Ну что за безмозглые! Да-к ведь мы вашего арапа ели, а вы – нашего, краснокожего. Нешто это возможно? Вот, дай-ка, вас черти-то на том свете поджарят!

А ихние, арапы, – глазищи белые вылупили, ухмыляются да знай себе – уписывают. Ну до чего бесстыжий народ: одно слово – арапы. И уродятся же на свет

этакие!

1920

# Халдей

Сидел Халдей с логорифмами, тридцать лет и три года логарифмировал, на тридцать четвертый придумал трубу диковинную: видать через трубу все небо близехонько, ну будто вот через улицу. Все настоящим видно, какие там у них жители на звездах, и какие вывески, и какие извозчики. Оказалось – все, как у нас: довольно скучно. Махнул рукой Халдей: эх... – и загорился.

А уж слух пробежал про трубу Халдееву, народ валом валит – на звезды поглядеть: какие там у них жители. Ну прямо додору нет до трубы, в очередь стали, в затылок.

И дошел черед до веселой девицы Катюшки: веселая, а глаза – васильки, синие. Околдовала глазами Халдея, пал Халдей на белые травы, и нет ему слаще на свете Катюшки-ных губ.

Катюшка и говорит Халдею:

– А небо-то нынче какое. На небо-то глянь!

– Да чего там, видал я: и глядеть нечего.

– Нет, ты погляди.

Хи-итрая: подвела Халдея к трубе не с того конца, не с смотрячего, а с другого, ну, где стекла-то маленькие.

Глянул Халдей: бог знает где небо – далеко. Месяц маленький, с ноготок: золотой паук золотую паутину плетет и себе под нос мурлычет, как кот. А небо – темный луг весенний, и дрожат на лугу купальские огненные цветы, лазоревые, алые, жаркие: протянуть руку – и несметный купальский клад – твой.

И еще вспомнилось Халдею – когда маленький был: в Чистый Четверг на том берегу – от стояния народ идет, и несут домой четверговые свечи.

Сразу – тридцать три года и логарифмы с плеч долой. Набежали на глаза слезы, поклонился Халдей в ноги девице веселой:

– Ну, Катюшка, век не забуду: научила глядеть.

1920

# Церковь божия

Порешил Иван церковь Богу поставить. Да такую – чтоб небу жарко, чертям тошно стало, чтоб на весь мир про Иванову церковь слава пошла.

Ну, известно: церковь ставить – не избу рубить, денег надо порядочно. Пошел промышлять денег на церковь Божию.

А уж дело было к вечеру. Засел Иван в логу под мостом. Час, другой – затопали копыта, катит тройка по мосту: купец проезжий.

Как высвистнет Иван Змей Горынычем – лошади на дыбы, кучер – бряк оземь, купец в тарантасе от страху – как лист осиновый.

Упокоил кучера – к купцу приступил Иван:

– Деньги давай.

Купец – ну клясться-божиться: какие деньги?

– Да ведь на церковь, дурак: церковь хочу построить. Давай.

Купец клянется-божится: «сам построю». А-а, сам? Ну-ка?

Развел Иван костер под кустом, осенил себя крестным знаменем – и стал купцу лучинкою пятки поджаривать. Не стерпел купец, открыл деньги: в правом сапоге – сто тыщ да в левом еще сто.

Бухнул Иван поклон земной:

– Слава тебе, Господи! Теперича будет церковь.

И костер землей закидал. А купец охнул, ноги к животу подвел – и кончился. Ну что поделаешь: Бога для ведь.

Закопал Иван обоих, за упокой души помянул, а сам в город: каменщиков нанимать, столяров, богомазов, золотильщиков. И на том самом месте, где купец с кучером закопаны, вывел Иван церковь – выше Ивана Великого. Кресты в облаках, маковки синие с звездами, колокола малиновые: всем церквам церковь.

Кликнул Иван клич: готова церковь Божия, все пожалуйте. Собралось народу видимо-невидимо. Сам архиерей в золотой карете приехал, а попов – сорок, а дьяконов – сорок сороков. И только, это, службу начали – глядь, архиерей пальцем Ивану вот так вот.

– Отчего, – говорит, – у тебя тут дух нехороший? Поди старушкам скажи: не у себя, мол, они на лежанке, а в церкви Божией.

Пошел Иван, старушкам сказал, вышли старушки; нет: опять пахнет! Архиерей попам мигнул: заладили все сорок попов; что такое? – не помогает. Архиерей – дьяконам: замахали дьякона в сорок сороков кадил: еще пуще дух нехороший, не продохнуть, и уж явно: не старушками – мертвой человечинной пахнет, ну просто стоять невмочь. И из церкви народ –

дьякона тишком, а попы задом: один архиерей на орлеце посреди церкви да Иван перед ним – ни жив ни мертв.

Поглядел архиерей на Ивана – насквозь, до самого дна – и ни слова не сказал, вышел.

И остался Иван сам-один в своей церкви: все ушли, не стерпели мертвого духа.

1920

## Бяка и Кака

В печурке у мужика – пух утиный сушился. И завелись в пуху Бяка да Кака. Вроде черных тараканов, а только побольше, рук две, ног две, а язык один – длинный: пока маленькие были, сами себя языком, вместо свивальника, пеленали.

Хорошенькие такие, богомольные – мужик на ночь – Троеручице поклоны бьет, а Бяка да Кака сзади – спине мужиковой. Днем из избы сор носили; по престольным праздникам, в новых красных рубашечках, мужика поздравляли. И до масленицы было – как нельзя лучше.

На масленице – принес браги мужик: такая брага – все вверх дном. Рожи, харчи, нечистотики; ухваты – по горшкам, черепки; изба – трыкнула и самоходом пошла – куда глаза глядят. А мужик – без задних ног и на брюхе – огарок догорает, потрескивает: вот-вот мужикова рубаха займется.

Бяка да Кака со всех ног кинулись: огарок тушить.

– Да пусти ты: я потушу.

– Нет ты пусти: я...

– Я мужика больше люблю; а ты – так себе, я знаю!

– Нет я больше. А ты Бяка!



– Я – Бяка? А ты – Кака! Что, ага?

Да в ус, да в рыло – и клубком по полу. Катались-катались, а от огарка – рубаха, от рубахи – мужик, от мужика – изба. И с мужиком, с избой вместе – Бяка и Кака: от всего – одна саж.

1920

# Четверг

Жили в лесу два брата: большенький и меньшенький. Большенький – неграмотный был, а меньшенький – книгочей. И близко Пасхи заспорили между собой. Большенький говорит:

– Светлое Воскресенье, разговляться надо.

А меньшенький в календарь поглядел.

– Четверг еще, – говорит.

Большенький ничего малый, а только нравный очень, за-воротень, слова поперек не молви. Осерчал большенький – с топором полез:

– Так не станешь разговляться? Четверг, говоришь?

– Не стану. Четверг.

– Четверг, такой-сякой? – зарубил меньшенького большенький топором – и под лавку.

Вытопил печку, разговелся большенький чем Бог послал, под святыми сел – доволен. А за теплой печкой – вдруг сверчок:

– Чтверг-чтверг. Чтверг-чтверг.

Осерчал большенький, под печку полез – за сверчком. Лазил-лазил, вылез в сопухе весь, страшный, черный: изловил сверчка и топором зарубил. Упарился, окошко открыл, сел под святыми, доволен: ну, теперь кончено.

А под окошком – откуда ни возьмись – воробьи:

– Четверг, четверг, четверг!

Осерчал большенький еще пуще, погнался с топором за воробьями. Уж он гонялся-гонялся, какие улетели, каких порубил воробьев.

Ну, слава Богу: зарубил слово проклятое: четверг. Инда топор затупился.

Стал топор точить, – а топор об камень:

– Четверг. Четверг. Четверг.

Ну, уж коли и топор про четверг – дело дрянь. Топор обземь, в кусты забился, так до Светлого Воскресенья большенький и пролежал.

В Светлое Воскресенье – меньшенький брат воскрес, конечно. Из-под лавки вылез – да и говорит старшему:

– Будет, вставай. Вздумал, дурак: слово зарубить. Ну уж ладно: давай похристосуемся.

# Огненное А

Которые мальчики очень умные – тем книжки дарят. Мальчик Вовочка был очень умный – и подарили ему книжку: про марсиан.

Лег Вовочка спать – куда там спать: ушки – горят, щечки – горят. Марсиане-то ведь, оказывается, давным-давно знаки подают нам на землю, а мы-то! Всякой ерундой занимаемся: историей Иловайского. Нет, так больше нельзя.

На сеновале – Вовочка и трое второклассников, самых верных. Иловайского – в угол. Четыре головы – над бумажкой: чертят карандашом, шу-шу, шу-шу, ушки горят, щечки горят...

За ужином большие читали газету: про хлеб, забастовки – и спорят, и спорят – обо всякой ерунде.

– Ты, Вовка, чего ухмыляешься?

– Да уж больно вы чудные: марсиане нам знаки подают, а вы – про всякую ерунду.

– А ну тебя с марсианами... – про свое опять. Глупые большие!

Заснули наконец. Вовочка – как мышь: сапоги, брюки, куртку. Зуб на зуб не попадает, в окошко прыг! – и на пустой монастырский выгон за лесным складом купца Заголяшкина.

Четверо второклассников, самых верных, натаскали дров купца Заголяшкина. Сложили из дров букву А – и запылало на выгоне огненное А для марсиан, колоссальное огненное А: в пять сажен длиной.

– Трубу!.. Трубу наводи скорее!

Навел мальчик Вовочка подзорную трубу, трясется труба.

– Сейчас... кажется... Нет еще... Сейчас-сейчас...

Но на Марсе – по-прежнему. Марсиане занимались своим делом и не видели огненного А мальчика Вовочки. Ну, стало быть, завтра увидят.

Уж завтра – обязательно.

– Ты чего нынче, Вовочка, чисто именинник?

– Такой нынче день. Особенный.

А какой – не сказал: все одно, не поймут глупые большие, что именно нынче начнется новая, междупланетная, эпоха истории Иловайского: уж нынче марсиане – обязательно...

И вот – великая ночь. Красно-огненное А, четыре багровых тени великих второклассников. И уж наведена и дрожит труба...

Но заголяшкинский сторож Семен – в эту ночь не был пьян. И только за трубу – Семен сзади:

– Ах-х вы, каналы! Дрова-а переводить зря? Держи-держи-держи! Стой-стой!

Трое самых верных – через забор. Мальчика Вовоч-

ку заголяшкинский сторож изловил и, заголивши, высек.

А с утра великих второкласников глупые большие засадили за историю Иловайского: до экзамена один день.

1918

# Первая сказка про Фиту

Завелся Фита самопроизвольно в подполье полицейского правления. Сложены были в подполье старые исполненные дела, и слышит Ульян Петрович, околоточный, – все кто-то скребется, потукивает. Открыл Ульян Петрович: пыль – не прочихаешься, и выходит серенький, в пыли, Фита. Пола – преимущественно мужского, красная сургучная печать за номером на веревочке болтается. Капельный, как младенец, а вида почтенного, лысенький и с брюшком, чисто надворный советник, и лицо – не лицо, а так – Фита, одним словом.

Очень Фита понравился околоточному Ульяну Петровичу: усыновил его околоточный и тут же в уголку, в канцелярии, поселил – и произрастал Фита в уголку. Понатаскал из подполья старых рапортов, отношений за номером, в рамках в уголку своем развесил, свечку зажег – и молится степенно, только печать эта болтается.

Раз Ульян Петрович приходит – отец-то названный, – а Фита, глядь, к чернильнице припал и сосет.

– Эй, Фитька, ты чего же это, стервец, делаешь?

– А чернила, – говорит, – пью. Тоже чего-нибудь мне надо.

– Ну ладно, пей, чернила-то казенные.

Так и питался Фита чернилами.

И до того дошло – смешно даже сказать: посусолит перо во рту – и пишет, изо рта у Фиты – чернила самые настоящие, как во всем полицейском правлении. И все это Фита разные рапорты, отношения, предписания строчит и в углу у себя развешивает.

– Ну, Фита, – околоточный говорит, отец-то названный, – быть тебе, Фита, губернатором.

Так, по предсказанному Ульян Петровичем, и вышло: в одночасье стал Фита губернатором.

А год был тяжелый – ну какой там, этот самый: и холера, и голод.

Прикатил Фита в губернию на курьерских, жителей собрал немедля – и ну разносить:

– Эт-то что у вас такое? Холера, голод? И – я вас! Чего смотрели, чего делали?

Жители очесываются:

– Да-к мы что ж, мы ничего. Доктора вот – холерку излечивали маленько. Опять же к скопским за хлебом спсылать...

– Я вам – доктора! Я вам – скопских!

Посусолит Фита перо:

«Предписание № 666. Сего числа, вступив надлежаше в управление, голод в губернии мною строжайше отменяется. Сим строжайше предписывается жи-



телям немедля быть сытыми. Фита».

«Предписание № 667. Сего числа предписано мною незамедлительно прекращение холеры. Ввиду вышеизложенного сим увольняются сии, кои самовольно именуют себя докторами. Незаконно объявляющие себя больными холерой подлежат законному телесному наказанию. Фита».

Прочитали предписания в церквах, расклеили по всем по заборам. Жители отслужили благодарственный молебен и в тот же день воздвигли Фите монумент на базарной площади. Фита похаживал степенный, лысенький, с брюшком, печатью этой самой поматывал да знай себе пофыркивал: так индюк важно ходит и чиркает крыльями по пыли.

Прошел день и другой. На третий – глядь, холерный заявился в самую Фитину канцелярию: стоит там и корчится – ведь вот, не понимает народ своей пользы. Велел ему Фита всыпать законное телесное наказание. А холерный вышел – и противоправительственно помер.

И пошли, и пошли мереть – с холеры и с голоду, и уж городских не хватало для усмирения преступников.

Почесались жители и миром решили: докторов вернуть и за скопским хлебом послать. А Фиту из канцелярии вытащили и учить стали – по-мужицки, народ необразованный, темный.

И рассказывают, кончился Фита так же не по-настоящему, как и начался: не кричал и ничего, а только все меньше и меньше, и таял, как надувной американский черт. И осталось только чернильное пятно да эта самая его сургучная печать за номером.

Поглядели жители: антихристова печать. В тряпочку завернули, чтобы руками не трогать, и закопали у ограды кладбищенской.

1917

## Вторая сказка про Фиту

Указом Фита отменил холеру. Жители водили хоро- воды и благоденствовали. А Фита дважды в день хо- дил в народ, беседуя с извозчиками и одновременно любуясь монументом.

– А что, братцы, кому монумент-то, знаете?

– Как, барин, не знать: господину исполняющему Фите.

– Ну, то-то вот. Не надо ли вам чего? Все могу, мне недолго.

А была извозничья биржа около самого собора. По- глядел извозчик на монумент, на собор поглядел – да и говорит Фите:

– Да вот, толковали мы намедни: уж больно нам округ собора ездить несподручно. Кабы да через пло- щадь прямая-то дорога...

Было у Фиты правило: все для народа. И был Фи- та умом быстр, как пуля. Сейчас это в канцелярию за стол – и готово:

«Имеющийся градский собор неизвестного проис- хождения сим предписываю истребить немедленно. На месте вышеупомянутого собора учредить прямоез- жую дорогу для гг. легковых извозчиков. Во избежа- ние предрассудков исполнение вышеизложенного по-

ручить сарацинам. Подписал Фита».

Утром жители так и обомлели:

– Собор-то наш, батюшки! В сарацинах весь – сверху донизу: и на всех пяти главах, и на кресте верхом, и по стенам, как мухи. Да черные, да голые – только веревочкой препоясаны, и кто зубом, кто шилом, кто дрючком, кто тараном – только пыль дымит.

И уже синих глав нету, и на синем – звезд серебряных, и красный древний кирпич кровью проступил на бело грудых стенах.

Жители от слез не прохлебнутся:

– Батюшка Фита, благодетель ты наш, помилуй! Да уж мы лучше кругалем будем ездить, только собор-то наш, Господи!

А Фита гоголем ходит – степенный, с брюшком, на сарацин поглядывает: сарацины орудуют – глядеть любо. Остановился Фита перед жителями – руки в карманы:

– Чудаки вы, жители. Ведь я – для народа. Улучшение путей сообщения для легковых извозчиков – насущная потребность, а собор ваш – что? Так, финти-флюшка.

Тут вспомнили жители: не больно давно приходил по собору Мамай татарский, от Мамаю откупились – авось, мол, и от Фиты откупимся. В складчину послали Фите ясак: трех девиц красивейших да чернил чет-

верть.

Разгасился Фита, затопал на жителей:

– Пошли вон сейчас. Туда же: Ма-ма-ай! Мамай ваш – мямля, а у меня сказано – и аминь.

И сарацинам помахал ручкой: гони, братцы, вовсю, уж стадо домой идет.

Село солнце – от собора остался только щебень. Своеручно пролинеил Фита мелом по линейке прямоезжую дорогу. Всю ночь сарацины орудовали – и к утру пролегла через базарную площадь дорога – прямая, поглядеть любо.

В начале и в конце дороги водрузили столбы, изукрашенные в будочный чернильный цвет, и на столбах надписание:

«Такого-то года и числа неизвестного происхождения собор истреблен исполняющим обязанности Фи-тою. Им же воздвигнута сия дорога с сокращением пути легковых извозчиков на 50 саженой».

Базарная площадь была наконец приведена в культурный вид.

## Третья сказка про Фиту

Жители вели себя отменно хорошо – и в пять часов пополудни Фита объявил волю, а будочников упразднил навсегда. С пяти часов пополудни у полицейского правления, и на всех перекрестках и у будок – везде стояли вольные.

Жители осенили себя крестным знамением:

– Мать пресвятая, дожили-таки. Глянь-ка: в чуйке стоит! Вместо будошника – в чуйке, а?

И ведь главное что: вольные в чуйках свое дело знали – чисто будочниками родились. В участок тащили, в участке – и в хрюкалку, и под микитки – ну все как надобно. Жители от радости навзрыд плакали:

– Слава тебе, Господи! Довелось: не кто-нибудь, свои бьют – вольные. Стой, братцы, армяк скину: вам этак по спине будет сподручней. Вали, братцы! Та-ак... Слава тебе, Господи!

Друг перед дружкой наперебой жители ломились посидеть в остроге: до того хорошо стало в остроге – просто слов нету. И обыщут тебя, и на замочек запрут, и в глазок заглянут – все свои же, вольные: слава тебе, Господи...

Однако вскорости местов не хватать стало, и пускали в острог жителей только какие попочетней. А

прочие у входа ночь напролет дежурили и билеты в острог перекупали у барышников.

Уж это какой же порядок! И предписал Фита:

«Воров и душегубов предписываю выгнать из острога с позором на все четыре стороны».

Воров и душегубов выгнали на все четыре стороны, и желавшие жители помаленьку в остроге разместились.

Стало пусто на улицах – одни вольные в чуйках; как-то оно не того. И опубликовал Фита новый указ:

«Сим строжайше предписывается жителям неуклонная свобода песнопений и шествий в национальных костюмах».

Известно, в новинку – оно трудно. И для облегчения неизвестные люди вручили каждому жителю под расписку текст примерного песнопения. Но жители все-таки стеснялись и прятались по мурьям: темный народ!

Пустил Фита по мурьям вольных в чуйках – вольные убеждали жителей не стесняться, потому нынче – воля, убеждали в загривок и под сусало и наконец убедили.

Вечером – как Пасха... Да что там Пасха!

Повсюду пели специально приглашенные соловьи. По-взводно, в ногу, шли жители в национальных костюмах и около каждого взвода вольные с пушкой.

Единогласно и ликующе жители пели, соответственно тексту примерного песнопения:

Славься, славься, наш добрый царь.  
Богом нам данный Фита-государь.

А временно исполняющий обязанности Фита раскланивался с балкона.

Ввиду небывалого успеха, жители тут же, у балкона Фиты, под руководством вольных, в единогласном восторге, постановили – ввести ежедневную повзводную свободу песнопений от часу до двух.

В эту ночь Фита первый раз спал спокойно: жители явственно и быстро просвещались.

1917



# Последняя сказка про Фиту

А был тоже в городе премудрый аптекарь: человека сделал, да не как мы, грешные, а в стеклянной банке сделал, уж ему ли чего не знать?

И велел Фита аптекаря предоставить.

– Скажи ты мне на милость: и чегой-то мои жители во внеслужебное время скушные ходят?

Глянул в окошко премудрый аптекарь: какие дома с коньками, какие с петушками; какие жители в штанах, какие в юбках.

– Очень просто, – Фите говорит. – Разве это порядок? Надо, чтоб все одинаковое. Вообще.

Так – так-так. Жителей – повзводно да за город всех, на выгон. И в пустом городе – пустили огонь с четырех концов: дотла выело, только плешь черная – да монумент Фите посередке.

Всю ночь пилы пилили, молота стучали. К утру – готово: барак, вроде холерного, длиной семь верст и три четверти, и по бокам – закуточки с номерками. И каждому жителю – бляху медную с номерком и с иглочки – серого сукна униформу.

Как это выстроились все в коридоре – всяк перед своей закуточкой, бляхи на поясах – что жар-птицы, одинаковые все – новые гривеннички. До того хорошо,

что уж на что Фита – крепкий, а в носу защекотало, и сказать – ничего не сказал: рукой махнул – и в свою закуточку, № 1. Слава тебе, Господи: все – теперь и помереть можно...

Утром, чем свет, еще и звонок не звонил (по звонку вставали) – а уж в № 1 в дверь стучат:

– Депутаты там к вашей милости, по неотложному делу.

Вышел Фита: четверо в униформе, почтенные такие жители, лысые, пожилые. В пояс Фите.

– Да вы от кого депутаты?

И загалдели почтенные – все четверо разом:

– Это что же такое – никак невозможно – это нешто порядок... От лысых мы, стало быть. Это, стало быть, аптекарь кучерявый ходит, а которые под польку, мы – лысые? Не-ет, никак невозможно...

Подумал Фита – подумал: по кучерявому всех – не по-одинаковать, делать нечего – надо по лысым равнять. И сарацинам рукой махнул. Налетели – набежали с четырех сторон: всех – наголо, и мужеский пол, и женский: все – как колено. А аптекарь премудрый – чудной стал, облизанный, как кот из-под дождичка.

Еще и стричь всех не кончили – опять Фиту требуют, опять депутаты. Вышел Фита смурый: какого еще рожна?

А депутаты:

– Гы-ы! – один в кулак. – Гы-ы! – другой. Мокро-но-сые.

– От кого? – буркнул Фита.

– А мы, этта... Гы-ы! К вашей милости мы: от дураков. Гы-ы! Желаем, знычь, чтоб, знычь... всем, то есть, знычь... равномерно...

Туча тучей вернулся Фита в № 1. За аптекарем.

– Слыхал, брат?

– Слыхал... – голосок у аптекаря робкий, голова в ситцевом платочке: от холоду, непривычно стриженому-то.

– Ну, как же нам теперь?

– Да как-как: теперь уж чего же. Назад нельзя.

Перед вечерней молитвой – прочли приказ жителям: быть всем петыми дураками равномерно – с завтрашнего дня.

Ахнули жители, а что будешь делать: супротив начальства разве пойдешь? Книжки умные наспех последний раз сели читать, до самого до вечернего звонка все читали. Со звонком – спать полегли, а утром все встали: петые. Веселье – беда. Локтями друг дружку подталкивают – гы-ы! гы-ы! Только и разговору: сейчас вольные в чуйках корыта с кашей прикатят: каша ячневая.

Прогулялся Фита по коридору – семь верст и три четверти – видит: веселые. Ну, отлегло: теперь-то уж

все. Премудрого аптекаря в уголку обнял:

– Ну, брат, за советы спасибо. Век не забуду.

А аптекарь – Фите:

– Гы-ы!

А ведь выходит дело – один остался: одному за всех думать.

И только это Фита заперся в № 1 – думать, как опять в дверь. И уж не стучат, а прямо ломаются, лезут, гамят несудом:

– Э-э, брат, нет, не проведешь! Мы хоть и петые, а тоже, знычь, понимаем! Ты, брат, тоже дурей. А то ишь ты... Не-ет, брат!

Лег Фита на кровать, заплакал. А делать нечего.

– Уж Бог с вами, ладно. Дайте сроку до завтрава.

Весь день Фита промежду петых толкался и все дурел помаленьку. И к утру – готов, ходит – и: гы-ы!

И зажили счастливо. Нету на свете счастливее петых.